

## **ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ

# **СКВОЗЬ СМЕРТЬ**

**Георгий Иванов**

Теперь, более чем через четверть века, «сквозь смерть», двенадцать лет моего перешедшего в дружбу знакомства с Георгием Ивановым, его духовный облик, его настоящий «портрет» представляются мне совершенно другими, категорически непохожими на те, которые запечатлелись в памяти подавляющего большинства знавших его людей, даже считавших себя его друзьями. Делаю эту оговорку потому, что знаю, что будут возражения, будут и удивление, и возмущение. Что ж – пусть будут. Думаю даже, что в каждом возражении будет находиться какая-то доля правды, ведь человек так сложен, как не бывает наисложнейшей электронно-вычислительной машине, так глубок – как ни один океан.

Вторая мировая война оказалась для Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой настоящей катастрофой: из обеспеченных людей они стали почти нищими. Дело в том, что до войны Одоевцева получала от своего отца из Риги деньги, на которые они могли жить более чем безбедно. Когда я с ними познакомился в 1946 году, они попросту бедствовали. Могут сказать – мол, надо было работать, найти все равно какую работу, но работать. Работал же Смоленский бухгалтером, Гингер – корректором, Туроверов – банковским служащим.

Конечно. Но ни Георгий Владимирович, ни Ирина Владимировна работать не умели. Не хотели, а не умели. И я имел возможность в этом убедиться.

Всё это сны:  
Руки твои ни на что не нужны.  
Этим плечам ничего не поднять,  
Нечего, значит, на Бога пенять.

Здесь нужно сделать одно замечание. Георгий Иванов был исключительно честен в своих стихах, выставляя себя таким, каким он был «внутри себя». Ему не пришло бы в голову написать, как это делал, например, Ходасевич: «Мне лиру ангел подает,/ Мне мир прозрачен, как стекло». Хотя бы потому, что вряд ли может существовать человек, для которого «мир прозрачен, как стекло». Я вовсе не критикую Ходасевича, который, конечно, знал лучше, чем я, что ему можно писать и чего нельзя.

Летом, в 1948 году, я проводил свой отпуск в маленьком альпийском городке. Получаю письмо от Георгия Иванова: «Ты спрашиваешь о настроении, о планах. Прилагаю стишок:

Собиратели марок, эстеты,  
Рыболовы с Великой реки,  
Чемпионы вечерней газеты,  
Футболисты, биржевики;  
Все, кто ходят в кино и театры,  
Все, кто ездят в метро и такси,  
Хочешь, чучело, нос Клеопатры?  
Хочешь быть Муссолини? – Проси!  
И просили и получали,  
Только мы почему-то с тобой  
Не словчились, не перекричали  
В утомительной схватке с судьбой».

Он был уверен в своей неспособности к какой-либо работе, кроме писания стихов. Воспринимал эту неспособность как обреченность. Толкуйте это как хотите – суеверие, предрассудок, самовнушение; это ничего не изменит. Это было фактом, и я этому свидетель. И это приносило ему немало унижений и оскорблений, потому что он отлично знал, КТО он и каково его место в русской поэзии.

До войны были деньги, присылаемые отцом Одоевцевой. После войны Латвия была оккупирована СССР, и денежные поступления прекратились. А жить было надо. Георгий Иванов понимал, что теперь содержать жену надо ему. За печатавшиеся в газетах и журналах стихи платили гроши. «Чеховское издательство» переиздало его «Петербургские зимы». Какие-то доллары он получил. Хватило ненадолго. А дальше? – «Руки твои никому не нужны».

Оставалось лишь – ходить с протянутой рукой по «меценатам», небольшой кучке богатых русских – и буквально просить «на кусок хлеба». И это ему – Георгию Иванову! Ведь я уже упомянул, что ценителей его поэзии можно было по пальцам перечесть, к тому же, как правило, чем богаче были «благотетели», тем скупее они «благотетельствовали».

Последний вечер в 1956 году в Малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи, не собрал даже сорока человек!

Ведь до поэзии, до вечной русской славы  
Вам дела нет...

Этот черный период я слишком хорошо знал. Слишком, потому что сам тогда не легко жил и много помочь не мог. Помню, как однажды пришел к ним в дешевый отель, где они жили. Комнату наполнял тяжелый полумрак. Одоевцева была простужена и лежала, Иванов сидел около нее на кровати. Они несколько дней ничего не ели; за комнату, конечно, не было заплачено. Мы вышли с Жоржем что-то купить, наверно, хлеба, колбасы, сыра. О чем говорили, не помню. Вернее, ни о чем: то, что было тогда главным, и так было ясно.

То, что мне хочется, это разрушить легенду о Георгии Иванове – грубияне и цинике, потому что грубость и цинизм служили лишь прикрытием его внутренней беззащитности, боли, обнаженной раны, которыми становилась в такие периоды его жизнь. К одному из них относятся стихи:

Я хотел бы улыбнуться,  
Отдохнуть, домой вернуться...  
Я хотел бы так немного,  
То, что есть почти у всех,  
Но что мне просить у Бога  
И бессмыслица, и грех.

Горестное очарование этих строк не только в том, что они подкупают своей обнаженной правдивостью, но и в том, что, трансцендируя личное, они становятся общим: каждый эмигрант, где бы он ни находился и к какой бы национальности ни принадлежал, может сказать о себе то же самое и такими же словами, превращая их в общеэмигрантскую трагедию.

Это заметил и Наум Коржавин, как-то сказавший мне: «В отличие от других поэтов-нытиков, Георгий Иванов пишет так, что его стихи никогда не воспринимаются как личная жалоба, но как твое собственное переживание».

Были, конечно, и антракты, но редкие и кратковременные. Так, когда Одоевцева написала роман «Оставь надежду навсегда» и за его французское издание получила сравнительно приличный гонорар, на следующий же день они укатили в Ниццу. Ниццу они любили особенно, и Георгий Иванов любил повторять, что в богохранимые времена ее любил и богатч граф Зубов за ее «лучший в мире базар», куда за покупками всегда ходил сам. Сколько времени длились «ниццы», уже не помню. Что-то около месяца. Ивановы нанимали там комнату в приличном отеле, наверстывали «черные дни» и возвращались в Париж без гроша. Начинались новые мытарства, новые унижения, новый очередной период «распроклятой судьбы эмигранта». Крепла броня, которой он прикрывал свой внутренний мир, который затем преобразился в одни из лучших когда-либо написанных на русском языке стихов – глубоких, точных, музыкальных:

---

## СКВОЗЬ СМЕРТЬ

---

Я верю не в непобедимость зла,  
Но только в неизбежность поражения.

Ведь чтобы найти подобные строки, нужно обращаться к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Мандельштаму, Анненскому. Это – строки, на которых можно построить целый философско-религиозный трактат. Или другие, характеризующие расколовшийся на два непримиримых начала современный мир:

Туманные проходят годы,  
И попережку дышим мы  
То затхлым воздухом свободы,  
То вольным холодом тюрьмы.

Или еще – о задаче, миссии людей, преследуемых советской властью:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,  
На Соловках или на Колыме.  
И лишь на Колыме и Соловках  
Россия та, что будет жить в веках.

Перечислять имена бежавших из «планетарного ада» или высланных коммунистической властью носителей веками создававшейся русской культуры и науки – не хватит и газетного листа, может, даже целой газеты – к тому же главнейшие из них известны всему миру. Не Лысенко же с Демьяном Бедным перенесут культуру и науку в грядущие столетия! Перенесут их те, кто, избежав лагеря или вырвавшись из него, очутился на Западе или, как великий Сахаров, предпочел унижения и страдания ради правды. Георгий Иванов сконцентрировал эту истину в четырех строках!

Приведенные примеры – не разбор ивановских стихов, но лишь попытка объяснить, дать почувствовать тем, кто его знал и возмущался его резкостью и грубостью, да, самой настоящей грубостью, – что эти черты были единственной возможностью защиты им своего совершенно беззащитного, детски ранимого внутреннего мира, рождавшего такие строки.

Начиная с послевоенного времени, эмиграция стала для Георгия Иванова «и тюрьмой, и сумой». И чем больше лет проходит с его кончины, с тем большей болью я ощущаю эти его и «тюрьму, и суму». Ощущаю их как свою вину перед ним, хотя тогда я ничем помочь ему не мог.

В 1955 году Ивановым удалось устроиться в дом для престарелых на берегу Средиземного моря, недалеко от Ниццы, в Йере. В доме было много испанцев, преимущественно «красных», в свое время убежавших от Франко. С некоторыми из них Георгий Иванов близко сошелся и даже подружился, хотя сам был закоренелым монархистом. «Правее меня только стена», – любил повторять он. В Йер я приезжал три раза во время летних отпусков. Он мне рассказывал о своих испанских друзьях, подчеркивая их исключительную порядочность и обаятельность. Это тоже показательная черта его характера: он не оценивал человека на основании одних лишь его политических взглядов.

В первый мой приезд в Йер я нашел Жоржа более спокойным: заботы о насущном отпали, какие-то мелкие деньжата появились – выдавали небольшие пособия, что-то присылали друзья. В Париж я привез сразу же запомнившееся последнее написанное им стихотворение, начинавшееся словами: «Свободен путь под Фермопилами» и кончавшееся:

Стоят рождественские елочки,  
Скрывая снежную тюрьму.  
И голубые комсомолочки,  
Визжа, купаются в Крыму.  
Они ныряют над могилами,  
С одной – стихи, с другой – жених...  
...И Леонид под Фермопилами,  
Конечно, умер и за них.

Русская молодежь неповинна в грехах родителей и не ведает, что живет в тюрьме. Лишенный собственных своих радостей, русский поэт радовался за нее.

Во второй раз, в 1957 году; он был уже другим, сгорбился, тяжело дышал, трудно ходил. Мы еле доплелись до скромного ресторанчика, что находился метрах в трехстах от их дома. Почти ничего не ел, не выпил и глотка вина (а как раньше любил!). Разговора о его здоровье не поднимали. К чему?

В Париже, как и раньше, почти каждые две недели получал письма из Йера, больше от Одоевцевой, с июня только от нее: «Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку, Жорж очень просит. Ему стало хуже...» Раза два послал, потом – не было денег. (Случались и у меня такие «периоды»).

29 августа 1958 года снова приезжаю в Йер. Вхожу в Дом, спрашиваю – где комната Ивановых. Замешательство. Кто-то смущенно отворачивается, кто-то провожает и указывает на дверь. Стучу и, не дожидаясь ответа, вхожу. Вся в черном сидит Одоевцева.

– А Жорж?

– Позавчера...

На местном кладбище – чуть заметный бугорок земли, маленький, связанный из двух веток воткнутый в него крест.

Повторяю одни из последних написанных им строк:

.....  
Но я не забыл, что обещано мне  
Воскреснуть, вернуться в Россию – стихами.

Ты уже вернулся, дорогой Жорж. И если бы знал, КАК вернулся! В России тебя уже знают, читают, перечитывают, запоминают навсегда.

### **Владимир Алексеевич Смоленский**

Владимир Алексеевич Смоленский был безусловно самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами рук. Я сказал «музыкальными» потому, что жесты словно аккомпанировали музыке его поэзии.

Он был первым из парижского литературного мира, с кем я познакомился. Это было в конце 1944 года. Познакомился и с его второй женой, Таисией Ивановной, которой он посвятил немало своих стихов.

Постепенно знакомство перешло в настоящую дружбу, так что до его кончины в 1961 году я, как правило, минимум раз в неделю заходил по вечерам к нему, на седьмой этаж улицы Лакретель, минутах в пятнадцати, «на своих двоих», от моей «Церковной» (rue de l'Eglise). Заходил просто, захватив бутылку вина (против чего регулярно протестовала Т.И.), которую мы распивали за ужином и за беседами о «странностях любви», об очередных сплетнях и, конечно, о поэзии. Особенно мне запомнилась одна из этих бесед. Пишу «запомнилась» в кавычках потому, что сейчас, более двадцати лет спустя, не помню ни одного им сказанного слова, но ощущаю «сквозь смерть» неповторимое метафизическое звучание беседы.

Смоленский не был большим поэтом, таким, как, например, Ходасевич или Пастернак, но это был в полном смысле слова «поэт Божьей милостью», живший поэзией и ничего выше ее не признававший. Но это был сложный и глубоко несчастный человек. Наиболее близко я с ним сошелся во время летних отпусков, которые он, Т.И. и я проводили в альпийском городке Сервоз, километрах в пятнадцати от подножия Монблана. Смоленские снимали комнату у местных крестьян, я – в скромном отельчике. Это было в конце 40-х и в начале 50-х годов. Уже тогда у Владимира с Т.И. начинался разлад. Что было тому причиной? Чужая душа – потемки, да еще душа глубоко неблагополучная. Я почти никогда не видел радости на его лице, разве что перед снежным великолепием Монблана или играющими маленькими детьми. Тогда лицо Владимира преобразалось, просветленное грустной радостью. Я понимаю онтологическую несовместимость этих слов, но в экзистенциальном плане мира, в котором жил Смоленский, это было воистину так.

За все годы нашей дружбы я не заметил – может быть, был недостаточно наблюдателен, – чтобы у Смоленского были враги. Единственно кого он ненавидел – это большевиков, убивших у него на глазах отца. Для него они были палачами «его России». Поэтому когда после Второй мировой войны немногие русские эмигранты, среди которых были и близкие ему люди, взяли советские паспорта и ждали возвращения на родину, Владимир к ним охладел; не поссорился с ними, а именно охладел: вычеркнул их из своей души. Их имен называть не буду.

Дело не в них, а в моем друге Володе Смоленском. Каким он проступает передо мною, «сквозь смерть», двадцать два года спустя? Трудно, невероятно трудно сказать. Мне чувствуется в его душе столько неизжитой боли и тоски, что не хватает подходящих слов, чтобы передать это читателю – человеку, лично его не знавшему, и не удивить знавших его мало. Попробую это сделать через его стихи, но, конечно, не в литературоведческом смысле, а в смысле человеческого, душевно человеческого. Здесь мне кажутся характерными два стихотворения:

Как летящая из сил последних птица  
Посредине ледяного океана,  
С верной смертью продолжает биться,  
Средь ветров, и стужи, и тумана.

Как она должна свое дыханье  
С силою своею соразмерить,  
Чтоб в себе преодолеть желанье  
Больше не бороться и не верить.

Что должно ей, этой птице, мниться  
В океане том необозримом... –  
Так и ты, душа, должна стремиться  
К берегам своим недостижимым.

Вот этой птицей мне и представляется живший «из последних сил» Смоленский. «Ледяным океаном» – его жизнь, ставшая «ледяной» отчасти по его собственной вине. Или судьбе? Ведь в том-то и тайна человеческой жизни, что зачастую личная вина и «слепая» судьба неразрывно сплетены. Какая же это вина? Во всяком случае, совершенно достаточная, чтобы жерновом навалиться на предельно тонкую и чуткую душу.

И второе, подобное первому:

Любимая моя живет в Китае,  
В высокой башне обо мне мечта.  
И, может быть, она уже стареет...  
За годом год, за ветром ветер веет,  
Раскосые кругом теснятся люди –  
Но нет меня и никогда не будет,  
У маленькой и желтоватой груди.

Сергей Рафаэльский считал это стихотворение одним из лучших и, во всяком случае, лучше других выражающим внутренний мир, умонастроение Смоленского: не только он разлучен со своей любовью, но и его любовь разлучена с ним; он обречен жить с мечтой, но и мечта обречена жить с ним. Снова двойная обреченность.

Георгий Иванов, как и Смоленский, ненавидел и не принимал советский мир. Но будучи меньшим лириком и большим реалистом, в какой-то момент понял, что жить в двух мирах нельзя, «проснулся, чтоб увидеть ужас, бессмысленность своей судьбы...» Владимир такого пробуждения не хотел, а вдруг... И поэтому старался «убежать»:

Мне трезвый мир невыносим –  
Недвижность есть в его движенье.  
Пронизан мглой, пропитан тленьем,  
Безвыходной тоской томим,

Он мне невыносим. Люблю  
Божественное опьянение...

Поэтому:

Мы будем пить, пока вино в стаканах,  
Мы будем жить, пока любовь в сердцах,  
Бессильны против любящих и пьяных  
Земная злоба, нищета и страх...

Здесь все же придется коснуться личной жизни поэта. Он кончил какую-то коммерческую школу и работал бухгалтером на небольшой фабрике, принадлежавшей почитателю его поэзии. Не думаю, чтобы он был хорошим бухгалтером, даже не в смысле профессионализма, но просто потому, что считал недостойным поэта такое ремесло: «считать деньги!» Но надо было как-то жить, а значит, как-то работать. Ничего другого Владимир делать не умел. Когда я его спрашивал, почему он пошел на бухгалтерские курсы, он только разводил руками.

Затем семейные обстоятельства. Таисия Ивановна была его второй женой. От первой у него был сын Алеша, высокий, стройный, интересный – но не такой красивый, как отец, – юноша, которого я видел два раза. С Т.И. отношения у Владимира были одинаково (так мне казалось) и трудные, и светлые.

Во всяком случае, одни из лучших его стихотворений посвящены ей:

Не знаю как, не знаю почему,  
Какими силами земли и неба,  
Но ты со мною делишь корку хлеба  
И к сердцу приникаешь моему.  
И в смерти час и в вдохновенья час  
Со мною ты всегда неотделимо.  
Все движется, все – мимо, мимо, мимо...  
Недвижно лишь твоих сиянье глаз.

Или конец другого:

И я пойму, зачем из темноты  
Я вызван был на счастье и муки,  
И улыбнусь... Ко мне склонишься ты  
И на груди мне накрест сложишь руки.

Не помню, чтобы Смоленский ходил в церковь. И не потому, что был неверующим. Но потому, что и вера его была мучительной: она как бы раздваивалась между Богом и Христом. Здесь – тайна; ведь и Христа он считал Богом, но Христос был ему ближе своей *богочеловечностью*. Бога же он воспринимал скорее по-древнееврейски «сокрушающим ребра» и «карающим». Отсюда и страшные строки:

Проклясть земной и страшный мир,  
Людей и ангелов и Бога...

За что? За то, что

Ты отнял у меня мою страну,  
Мою семью, мой дом, мой легкий жребий,  
Ты опалил огнем мою весну,  
Мой детский сон о правде и о небе...

Толковать их не берусь, даже сейчас, «сквозь смерть», потому что сам Владимир не отдавал себе полностью отчета в том, что написал. Могу только – но опять же, лишь его собственными стихами, – дать представление о его душевном состоянии:

---

## СКВОЗЬ СМЕРТЬ

---

Никакими словами, никакими стихами,  
Ни молчаньем, ни криком — ничем  
Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами,  
О том, что закрытыми видишь очами,  
Когда неподвижен и нем,  
И глух, ты лежишь, как в могиле, в постели,  
На грани того бытия,  
И в темном, надземном, надзвездном пределе,  
Над жизнью и смертью, без страха, без цели  
Душа пролетает твоя.

Никакими словами...

Фотографически запечатлелись наши горные прогулки вдвоем в Сервозе. Сговаривались с вечера, что Владимир зайдет за мной, потому что из моего отельчика, сразу после небольшой площадки перед ним, поднималась извилистая дорожка на горный перевал. Она проходила возле шалаша деда Бушара, которому принадлежал небольшой клочок земли, где, кроме елей, росло еще несколько сливовых деревьев. Из плодов их дед гнал отличный «мар» (местный самогон) и продавал по баснословно дешевой цене. Мы частенько его покупали, и это служило поводом не брать с собой, несмотря на все ее домогательства, Т.И. Домогательства Смоленского раздражали, но понять Т.И. было нетрудно, так как случалось, что за такую прогулку, длившуюся три-четыре часа, мы иногда выпивали всю бутылку. Мар нас нежно пьянил, развязывались языки и распаивались души, а горный воздух, развеивая алкогольные пары, предохранял от «положения риз». Внизу, конечно, доставалось и Владимиру, и мне.

Совсем другими вспоминаются последние, длившиеся почти год, месяцы мучительного умирания Смоленского от рака горла, особенно после операции, когда он уже почти, точнее, совсем не мог говорить, отвечая жестами или написанными на бумаге несколькими словами. Они раковой опухолью врезались мне в память, и мне физически тяжело о них писать. Ведь дело касается чувства, духовно-душевной драмы, с которой я соприкасался, входя в квартиру Владимира. В ней уже хозяйничала смерть, она была почти физически ощутима, но какой-то издевательский оптимизм (или слепота?) прогонял мысль о ней. Творилась мистерия, и у меня не хватало слов ее описать. Да я и не знаю, существуют ли для таких вещей слова. Воистину «никакими словами...»

Чужая душа — потемки. Но в потемках, ощупью, можно все же как-то пробираться. К душе Володи Смоленского мне до сих пор страшно прикоснуться, столько в ней было любви и нежности, горести и отчаяния. И вот они сейчас расположились вокруг меня, я их чувствую, как мои собственные, но подойти к ним, коснуться их — не в силах.

Одна только боль, боль, боль.

И вот 8 ноября 1961 года, часов в десять утра, телефон. Звонила наша общая знакомая поэтесса А.И.Горская: «Скончался Смоленский...»

Ему было 60 лет.

Он лежал на кровати, смуглый, с белым венчиком на лбу. Еще более красивый, чем при жизни. Почему-то мелькнула мысль (до сих пор от виденья не могу отделаться): таким был Магомет.

В комнате были Т.И., ее младшая сестра и муж сестры, священник И.Верник. Около кровати на стуле лежала открытая книжка стихов Бунина, которые за последние недели Владимир очень любил. Самого же Бунина он всегда любил. И Бунин его. Насколько помнится, больше никого не было. Не было и слез. Одна лишь, в каждом ушедшая в себя, напряженность.

Я старался стихами Смоленского передать его образ, облик, внутренний мир. Приведу теперь его любимое, «коронное», которое он читал на всех своих выступлениях, и всегда сопровождавшееся бурными аплодисментами:

Закрой глаза, в виденье сонном  
Восстанет твой погибший дом —  
Четыре белые колонны  
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косыя  
В небесный ударяют щит,

---

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ

---

А за балконом вся Россия,  
Как ямб торжественный, звучит.

Давно был этот дом построен,  
Давно уже разрушен он,  
Но, как всегда, высок и строен,  
Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря,  
Без страха смотрит с высоты,  
Как проступают там, в лазури,  
Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы,  
И чтоб его поцеловать,  
Из залы или из могилы  
Выходит, улыбаясь, мать.

И вот, стоят навеки вместе  
Они среди своих полей,  
И, как жених своей невесте,  
Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый  
Прислушивается, к чему —  
Не знает сам, и роза в вазе  
Бессмертной кажется ему.

*Публикацию подготовил Александр Радашкевич*